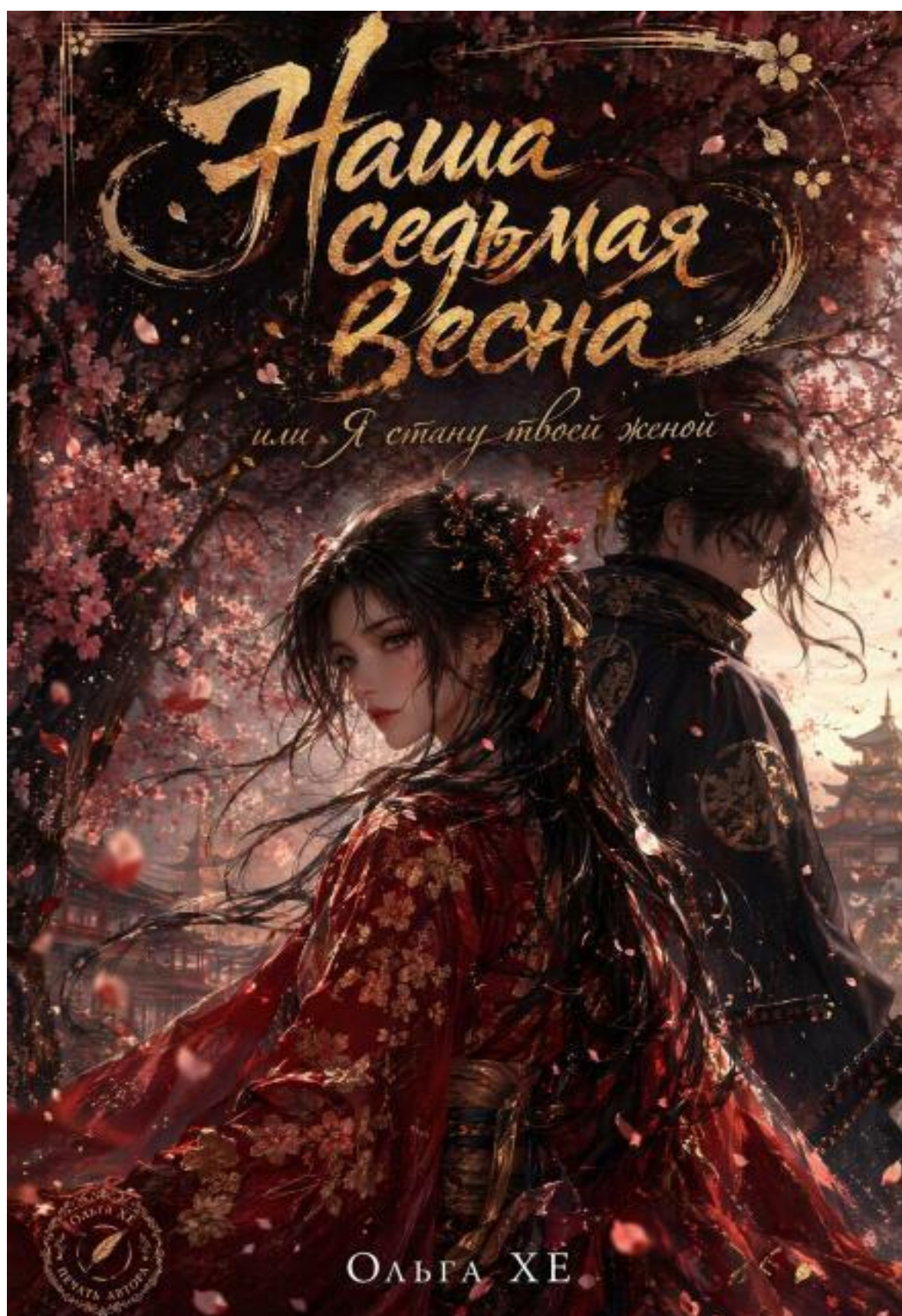




Ольга ХЕ

**Наша седьмая весна
или я стану твоей женой**

«Литнет»

2026

ХЕ О.

Наша седьмая весна или я стану твоей женой / О. ХЕ —
«Литнет», 2026

Лепестки сакуры на вкус как кровь. Я знаю это точно — пять смертей не дадут соврать. Каждую весну я открываю глаза в одном и том же теле, проживаю одни и те же месяцы — и умираю под одним и тем же деревом. Нож входит легко. Лепестки ложатся на лицо, как саван. И последнее, что я вижу, — тёмный силуэт мужчины у края сада. Кацуро Минамото. Генерал. Советник. Человек, от которого пахнет сталью и зимой даже в разгар лета. Пять жизней я бежала от него. Пять жизней он оказывался рядом с моим телом. На шестой — я надену свадебное кимоно и сама приду к нему. Стану его женой. Его тенью. Его самым сладким кошмаром. Пусть попробует убить женщину, которая спит в его постели. Пусть попробует отвернуться от той, что выучила наизусть каждый его вздох. Я думала — это ловушка для него. Я не знала, что шесть жизней назад эта ловушка уже захлопнулась. На мне.

Содержание

Пролог. Лепестки	5
Глава 1. Начало	8
Глава 2	11
Конец ознакомительного фрагмента.	12

Пролог. Лепестки

Весна в тот год пришла рано, и сакура в саду усадьбы Тачибана зацвела на целую неделю раньше срока, словно торопилась, словно боялась не успеть. Старое дерево, помнившее ещё прадеда Аяме, стояло в дальнем углу сада, у каменной стены, увитой плющом, и цвело так щедро, так безудержно, будто хотело отдать миру всё, что копило долгой зимой. Лепестки летели по ветру, ложились на дорожки, оседали на глади пруда, невесомые, розовые, тёплые, как первый поцелуй, и весь сад дышал этим сладковатым горьким запахом, от которого хотелось закрыть глаза и стоять так, не двигаясь, очень долго.

Аяме любила это дерево с тех пор, как научилась ходить, а может, и раньше, потому что мать рассказывала, что первую весну своей жизни она провела в люльке под этой кроной, и лепестки падали ей на лицо, и она смеялась, протягивая к ним руки. Каждую весну Аяме приходила сюда, садилась на корни, откидывала голову и смотрела в розовое кружево над собой, и думала: вот оно, счастье, настоящее, ненадуманное, не требующее ни денег, ни титулов, ни чужого одобрения, просто цветы, просто небо, просто тишина отцовского сада.

— Госпожа, вы весь день собираетесь просидеть под деревом? — спросила Хана, появившись на энгаве с подносом, на котором стоял чайник и две рисовых лепёшки, которые она пекла каждое утро, невзирая на то, что Аяме давно предпочитала есть позже. — Ваш отец спрашивал, будете ли вы с ним обедать, или опять забудете о еде и людях, как в прошлый раз, когда я нашла вас здесь уже в сумерках с листьями в волосах.

— Буду, Хана, обязательно буду, — ответила Аяме, улыбаясь, потому что не улыбнуться на этот тон было невозможно, он был таким привычным и таким родным, что иногда ей казалось, будто Хана и есть этот дом, его живое, тёплое, ворчливое сердце. — Только посижу ещё немного, совсем немного, пока лепестки не перестанут падать.

— Они не перестанут ещё неделю, — ответила Хана с тем выражением, которое Аяме знала наизусть и могла бы нарисовать с закрытыми глазами: поджатые губы, приподнятая бровь, бесконечное терпение, замаскированное под недовольство. — Вы так и будете неделю сидеть?

— Может быть, — сказала Аяме и засмеялась, и Хана покачала головой, и поставила поднос на край энгавы, и ушла обратно в дом, и скрип её шагов по коридору был знакомым и родным звуком, одним из тех, которые становятся частью тебя, как собственное дыхание.

Аяме осталась одна под деревом, и мысли потекли свободно, как вода, которую отпустили из ладоней. Она думала о муже, о его лице утром, когда он ещё не надел маску для внешнего мира, о том, как он шурился на свету и выглядел моложе, мягче, человечнее, чем перед кем бы то ни было другим. Вчера за ужином он накрыл её ладонь своей, просто так, ни слова не сказав, и она почувствовала, что весь мир уместился в это прикосновение, что большего не нужно и не будет нужно, что месяцы брака не притупили остроту, а наоборот: каждый день она находила в нём что-то новое и удивлялась, сколько ещё можно узнавать в одном человеке. Этим утром, когда она уезжала к отцу, он стоял у ворот поместья, хмурый и недовольный, хотя поездка была всего на три дня и он сам настоял, чтобы она навестила отца, который последние месяцы выглядел совсем усталым.

— Три дня, — сказала она ему, поправляя воротник его кимоно, потому что нужно было чем-то занять руки, иначе она бы вцепилась в него и не отпустила. — Всего три дня, не скучай.

— Не буду, — ответил он таким тоном, который означал ровно противоположное, и его лицо на мгновение стало тем самым, мальчишеским, открытым, без единой стены, и она подумала: вот ради этого лица я бы прожила тысячу жизней. Она не сказала ему «люблю», когда уходила, только махнула рукой и улыбнулась, потому что думала, что будет вечер, будет завтра,

будет их целая жизнь, и слово «люблю» никуда не денется, и она успеет произнести его ещё тысячу, десять тысяч, сто тысяч раз.

Теперь она сидела под сакурой и думала о нём, и о ребёнке, о котором ещё не сказала никому, даже Хане, даже себе самой не позволяла думать об этом вслух, потому что было рано, потому что ещё только шёпот внутри, только подозрение, только странная утренняя тошнота и тяжесть в груди. Но она чувствовала, как женщины чувствуют, что-то менялось в ней, что-то тянуло, наливалось, готовилось стать чем-то большим, чем она сама. Летом она скажет ему, решила Аяме, когда будет уверена, когда сможет взять его руку и положить себе на живот и произнести слова, от которых его лицо станет таким, каким она любила его больше всего на свете.

Ей было девятнадцать, и впереди была целая жизнь, огромная, неизведанная, полная вечеров и завтра, полная его лица на рассвете и первых шагов ребёнка по деревянному полу, и старости, в которой он будет так же щуриться на свету, только морщинки у глаз станут глубже, и она будет знать каждую из них наизусть, как знала каждую трещину на потолке своей комнаты. Шаги за спиной она слышала поздно, не потому что была глуха, а потому что не ждала. Кому таиться в саду её отца, когда слуги ходили открыто, Хана всегда окликала издали, а отец шаркал сандалиями по камню так, что его было слышно за три комнаты? Эти шаги были другими, лёгкими, чужими, целенаправленными, шагами человека, который знал, куда идёт и зачем, и Аяме начала оборачиваться, но не успела, потому что боль пришла раньше понимания.

Короткая, влажная, обжигающая, она вошла под рёбра слева, глубоко, так глубоко, что Аяме не сразу осознала, что это не удар, а конец, что лезвие разделило в ней что-то, чего не починить и не срастить. Тело поняло раньше разума: ноги подогнулись, руки потянулись к животу и нашли там мокрое, тёплое, чужое, и она посмотрела вниз и увидела кровь на лиловом шёлке, на ирисах, вышитых мамиными руками, расплывающееся тёмное пятно, которое с каждой секундой становилось больше.

Она упала на бок, медленно, как во сне, и тело опускалось к земле, а лепестки сакуры продолжали падать, ложились на волосы, на залитое кровью кимоно, на побелевшие пальцы, и мир не изменился, мир остался прекрасным, и в этом была невыносимая, невыносимая жестокость, потому что весна не заметила её смерти, потому что лепестки падали с тем же равнодушием, с каким падали бы, если бы под деревом лежала не девятнадцатилетняя женщина с ножом между рёбер, а просто куча опавших листьев. Шаги удалились, тихие, ровные, неторопливые, шаги человека, который не бежал, не оглядывался, который ушёл, как уходят люди, выполнившие работу. Аяме лежала под сакурой щекой к земле, глядя на кусочек неба сквозь цветущие ветви, розовое на голубом, такое красивое, такое страшно красивое, что хотелось закричать, но горло не слушалось, и голос не шёл, и всё, что осталось, была одна мысль, простая, как дыхание, простая, как удар сердца, которых оставалось всё меньше.

Она не хотела умирать, и эта мысль не была ни молитвой, ни жалобой, ни вопросом «за что» или «кто» или «почему», а просто констатацией, обнажённой и беспомощной, как новорождённый ребёнок, которого она никогда не увидит. Холод поднимался от живота к груди, заливал лёгкие, подбирался к горлу, и кровь уходила тихо, настойчиво, неостановимо, как вода из разбитой чаши, и Аяме чувствовала, как жизнь утекает из неё, и хотела вцепиться в неё зубами, ногтями, всем, что осталось, но вцепиться было не во что, потому что жизнь не имеет формы, за которую можно ухватиться. Ей было девятнадцать, только девятнадцать, и она не сказала ему про ребёнка, не сказала «люблю», когда уходила утром, только махнула рукой, только улыбнулась, господи, только улыбнулась, и думала, что будет вечер, будет завтра, будет потом, а потом не будет, потом закончилось, потом лежит на земле под сакурой в лиловом кимоно с ирисами, и кровь пропитывает каждый вышитый лепесток.

Лепестки падали на её лицо, на открытые глаза, на губы, которые ещё шевелились, беззвучно, будто слова могли что-то изменить, и мысли, последние, слабые, как пламя свечи на

ветру, сплетались друг с другом и путались, теряя границы. Она хотела вернуться, хотела сказать ему, хотела увидеть его лицо ещё один раз, только один, хотела прожить свою жизнь всю, целиком, до последнего дня, хотела состариться и увидеть, как её дитя делает первый шаг, хотела проснуться рядом с ним через двадцать лет и чтобы он так же шурился на свету, хотела исправить, хотела, хотела, хотела...

Небо над ней меркло медленно, как тушью, разведённой в воде, голубое становилось серым, серое становилось чёрным, и лепестки ещё падали, или ей только казалось, что падали. Последнее, что она видела, было розовым на чёрном, а последнее, что чувствовала, был холод земли под щекой и что-то тёплое, уходящее из неё навсегда, и она не хотела его отпускать, не хотела, не хотела, не хотела, но тело уже не слушалось, и мир уже не держал, и темнота пришла мягко, тихо, бесконечно, как сон, в котором нет сновидений.

В этой темноте не было ни боли, ни страха, только пустота, и в этой пустоте что-то дрогнуло, что-то сдвинулось, как стрелка компаса, потерявшая север, что-то откликнулось на немую мольбу умирающей девятнадцатилетней женщины, которая хотела так просто, так невыносимо просто прожить свою жизнь. Мироздание, то огромное, безликое, равнодушное нечто, которое обычно не слушает и не отвечает, в этот раз услышало, и дрогнуло, и ответило, хотя цена ещё не была названа, и платить за неё будет не она.

Глава 1. Начало

Сначала всегда приходил свет, мутный, холодный, осенний, просачивающийся сквозь щели разошедшихся ставен, лежащий на знакомый потолок, на трещину в левом углу, похожую на пересохший речной приток. Тусклое золото позднего рассвета, не летнее, не зимнее, а промежуточное, свет девятого месяца, когда лето уже умерло, а зима ещё не пришла, и мир висел между ними, как монета, подброшенная в воздух и ещё не решившая, какой стороной упасть.

Аяме знала этот свет так же хорошо, как собственные руки, знала эту трещину на потолке, каждый её изгиб, каждое ответвление, каждую тень, что ложилась вдоль неё в первый час утра. Шесть раз она открывала глаза и видела одно и то же: этот потолок, этот свет, это тело, лёгкое, молодое, целое, без единого шрама, без единого следа от пяти ножей, пяти ядов, пяти смертей, которые оно перенесло и не запомнило.

Ещё до того, как разум проснулся полностью, тело уже знало. Кожа покрылась мурашками от затылка до поясницы, ледяной волной, сердце ударило гулко и тяжело, и память хлынула, не по частям, не осторожно, а вся разом, как обвал, как стена воды, которую держала плотина всю ночь и которая наконец прорвалась. Пять жизней, пять смертей, пять раз лепестки и кровь обрушились в сознание, и Аяме сжала зубы так, что свело челюсть, и вцепилась в край одеяла, потому что если не вцепиться во что-нибудь, можно было закричать, а кричать нельзя было, не сейчас, не в этот раз.

— Тихо, — прошептала она самой себе, и голос прозвучал хрипло и чуже, как будто принадлежал кому-то другому, кому-то, кто не умирал пять раз под сакурой. — Тихо, тихо, тихо.

Она лежала неподвижно, пальцы вцепившись в одеяло, дыхание рваное, мелкое, как у загнанного зверя. Тело помнило нож под рёбрами слева, помнило дым в лёгких, горький и жирный, помнило удар земли далеко внизу после долгого беззвучного падения. Каждая смерть оставила в нём свой след, невидимый глазу, но осязаемый изнутри, как трещины в стене, которые штукатурка прячет, но стена помнит.

Первый вопрос, всегда первый, как якорная цепь, брошенная в темноту: какой месяц? Без него можно утонуть в том, что было, и никогда не вынырнуть в то, что есть. Свет за ставнями был тусклым, но тёплым, и за стенами шумела листва, листва, которая ещё держалась на ветвях, но уже начала желтеть, и где-то далеко, за стеной, пела птица, не зимняя, не весенняя, осенняя. Начало осени, девятый месяц, и значит, до весны оставалось семь месяцев, семь месяцев до сакуры, до ножа, до лепестков на мёртвом лице, на её мёртвом лице.

В прошлые разы этого времени хватало, чтобы бежать, прятаться, влюбляться, строить, надеяться и умирать. Аяме позволила себе одну минуту, ровно одну, лежать и перебирать, не истерику, не крик в подушку, как на третьем пробуждении, когда она выла до сорванного голоса, пока Хана не начала ломиться в дверь, не оцепенение четвёртого, когда она часами смотрела в потолок и тело отказывалось жить, не рвоту пятого, не раскачивание шестого, вперёд-назад, как ребёнок в темноте. Просто минуту тишины, перебирая смерти, как бусины на четках, одну за другой.

Первая смерть, которую она помнила: нож в саду отца, сакура старая, огромная, в полном цвету, она сидела у корней и не слышала шагов, и лепестки легли на её лицо, белые и розовые, а между ними красное, а потом темнота. Вторая: яд в чашке утреннего чая от служанки с ласковой улыбкой, горечь, которую она списала на новый сбор, онемение в пальцах, потом в ногах, потом везде, и пол, ударивший в скулу, и за окном сакура, всегда сакура. Третья: побег в провинцию, чужое имя, чужая жизнь, месяцы тишины, в которые она думала, что вырвалась, а потом постоянный двор, сакура у крыльца, вечер, она вышла подышать, и нож в

спину, и она даже не увидела лица. Четвёртая: Ёширо, любовь лёгкая, солнечная, его руки, его клятвы, его меч на страже её жизни, но весной он ушёл в поход, и она осталась одна, и сакура, и нож, и цветок в волосах, который он заткнул ей за ухо утром, перед отъездом, всё ещё был тёплым от его пальцев. Пятая: гильдия, власть, деньги, охрана из двенадцати человек, она думала «попробуйте», и собственный охранник попробовал, «срочная встреча, госпожа, прошу вас», сад, сакура, нож, и его лицо, виноватое и бледное, было последним, что она видела.

Пять бусин, пять смертей, и одна нить, на которую все были нанизаны: Кацурао Минамото. Каждый раз рядом, не над ней с клинком, нет, это было бы слишком просто, слишком понятно, а рядом, в пределах слышимости, в пределах видимости, его видели другие, случайные люди, он проезжал мимо, он был на приёме по соседству, он навещал отца по делу, он оказывался рядом, как луна оказывается на небе, неизбежно, необъяснимо, каждую ночь. Совпадение один раз, закономерность два, пять раз это либо приговор, либо ключ.

Аяме открыла глаза, и в этот раз потолок с трещиной в левом углу не вызвал ни ужаса, ни тошноты, только холодную, ясную решимость, от которой внутри всё подобралось, как перед прыжком. Она села на футоне рывком, одеяло соскользнуло, холодный воздух обнял плечи, и тяжёлые спутанные волосы упали на лицо, но она не убрала их, просто сидела в полумраке собственных волос, обхватив колени, и думала, не как жертва, не как девочка, которой страшно, а как женщина, прожившая пять жизней и похоронившая в каждой себя.

Бегство закончилось провалом, любовь закончилась провалом, неизвестность закончилась провалом, власть закончилась провалом, четыре стратегии, четыре трупа, и она пробовала всё, кроме одного: кроме него. Ни разу, ни в одной из пяти жизней она не подошла к Кацурао Минамото ближе, чем на расстояние взгляда через толпу, бежала от него, пряталась, искала других мужчин, другие стены, другие крепости, а он всё равно был рядом в момент смерти. Бежать от него бессмысленно, и значит, нужно идти к нему.

Мысль пришла не как озарение, а как камень, долго падавший сквозь воду и наконец ударивший о дно, глухо, окончательно, бесповоротно. Выйти за него замуж. Если он тот, кто убивает, она будет рядом, достаточно близко, чтобы увидеть, понять и, может быть, остановить, или хотя бы узнать «зачем» перед тем, как темнота заберёт снова. А если он лишь проклятая тень, необъяснимый свидетель, стрелка компаса, вечно указывающая на её смерть, но не являющаяся ею, тогда она будет под защитой сильнейшего дома империи, не дочь умирающего Тачибана, а жена генерала Минамото, и пусть попробуют подослать убийцу к этой женщине, пусть попробуют и посмотрят, что с ними сделает Зимний Клинок.

— Расчёт, — произнесла она беззвучно, одними губами, как молитву наоборот. — Только расчёт, ничего больше.

Что-то внутри шевельнулось, глубоко, в том месте, куда Аяме запретила себе заглядывать после четвёртой жизни, что-то, что отзывалось на его имя раньше, чем успевал разум, что-то тёплое, тёмное, тянущее, как нота, услышанная во сне, которую невозможно вспомнить утром, но тело узнаёт. Она задавила это привычно и жёстко, потому что чувства были роскошью мертвецов, роскошью тех, кто умирает только однажды, и у неё не было на них ни времени, ни права.

Аяме встала, поставила босые ноги на холодный деревянный пол и расправила плечи, тело девятнадцатилетней девушки, лёгкое, гибкое, послушное, с шестью жизнями памяти, свёрнутыми внутри плотно, как шёлк в ларце. Она подошла к сундуку, откинула крышку и провела пальцами по сложенным тканям привычным жестом, знакомым до тошноты, потому что это кимоно она надевала шесть раз, а это шесть раз оставляла в сундуке, а вот это носила в четвёртой жизни, когда Ёширо сказал, что цвет индиго ей идёт больше всего на свете, и она улыбнулась ему, и поверила ему, и умерла, пока он был в походе.

Она выбрала серо-голубое, неброское, строгое, без узоров, оделась сама, быстро, точно, без зеркала, нижний слой, верхний, оба затянула туго, почти до боли, как будто стягивала себя

в единое целое, не давая рассыпаться. Волосы собрала вверх и закрепила шпилькой из тёмного дерева, потом подошла к ставням и раздвинула их.

Осенний сад лежал перед ней, золотой, рыжий, багряный: клёны пылали вдоль дорожки, пруд отражал низкое серое небо, каменные фонари стояли среди опавших листьев, тихие, терпеливые, вечные. И сакура, в дальнем углу, у стены, не цветущая, далеко до цветения, но и не голая: листья ещё держались, побуревшие, скрученные, цепляющиеся за ветви из последних сил, а через месяц они опадут, через два дерево станет чёрным скелетом на фоне зимнего неба, а через семь зацветёт и под ним, как всегда, прольётся кровь.

— Нет, — сказала Аяме дереву, тихо, твёрдо, и голос не дрогнул. — В этот раз под тобой будут только лепестки.

Она отвернулась от окна, и лицо её было спокойным, сухим, без единой слезинки, впервые за шесть пробуждений ни единой слезы, не потому что не больно, а потому что боль наконец стала топливом вместо оков. Пять раз она умирала, и на шестой она выйдет замуж за своего убийцу, или за того, кто убьёт её убийцу за неё, и так или иначе эта весна будет последней, для кого-то из них.

Она вышла из комнаты, и шаги её были тихими, ровными, уверенными по скрипучему коридору, по знакомым доскам, мимо знакомых стен, навстречу утру, которое пахло палой листвой и ледяной водой. Усадьба Тачибана просыпалась вокруг неё в шестой раз и, если Аяме сделает всё правильно, в последний.

Глава 2

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.